

ЗНАМЕНИЕ БЫЛОГО  
(О ЛѢСКОВѢ)

Есть пророческія откровенія, которыя раскрываются въ опытѣ, въ искусѣ, въ исполнительныхъ или вѣщихъ страстяхъ личности; но есть возвѣстія, которыя изрекаются избранными безъ личнаго подвига, безъ дѣйственнаго превозможенія: просто было дано свыше увидѣть, понять и открыть новыя тайны міра. У такихъ провидцевъ нѣтъ воли для свершений, но есть острое зрѣніе и тайный слухъ, которыми они провидѣть и прослушиваются толщу.

— Таковыи явления Лѣсковъ.

Глубины бытія и сущность вещей ревнивы: нужно быть простымъ и очень любить, для того чтобы святыя нѣдра черной земли и драгоценныя тайны сердца раскрылись и дались. Отъ исполненія духомъ гордыни, обличенія и тревожнаго безвѣрія гаснутъ глаза, глохнетъ слухъ и сокровенный видѣнія и музыка сердца становятся недоступными. Сдвигается скрывающая оболочка — и кора земли и сердца становится черствой, жесткой, непроницаемой для чужихъ взглядовъ и чужого слуха.

Много смотрящихъ на жизнь, наблюдающихъ, но мало вникающихъ. Немногие увидѣли и поняли въ жизни то, что раскрыль, можетъ быть, самый

мудрый русскій писатель — Лѣсковъ. Лѣсковъ — не бытописатель вродѣ Островскаго, Щедрина, Писемскаго, Печерскаго. Его чувство быта не схватываніе внѣшнихъ формъ жизни, а подлинное касаніе самаго бытія, самого сердца жизни, бытовой воли, того неисчерпаемаго волевого процесса жизни, который дѣется, бьется и творится во всѣхъ и во всемъ, непрестанно и невидимо.

Быть у Лѣскова — всегда въ проявленіи воли, въ событиї, въ подвигѣ. Проживъ свои дни простымъ смертнымъ, безъ крупнаго личнаго подвига жизни, безъ пышной біографіи, — Лѣсковъ, какъ очарованный сподобился всю жизнь стоять передъ чудомъ человѣческаго подвига и подвижничества, и до конца понять и схватить эту героическую стихію. Не даромъ Лѣсковъ такъ любилъ древній Прологъ и «прилоги», эти яркія, лаконическія, реально-мистическая повѣсти «о легендарныхъ характеристахъ», объ искусахъ и побѣдахъ человѣческой воли, такъ близко сочетающіе въ прихотливо-чудесныхъ случаяхъ жизни — Божеское и человѣческое.

Творческій мірь Лѣскова — это нѣчто среднее между Прологомъ и былиной. Жизнь каждого, даже самаго незамѣтнаго, была для Лѣскова сосредоточенное и значительное житіе, причемъ это не было вдохновеннымъ подходомъ къ дѣйствительности изнутри, а рѣдчайшимъ даромъ ухватыванія, усматриванія истиннаго подвига и славы — въ тайникахъ и поросляхъ жизни.

И какъ показательно: когда Лѣсковъ прикидывается и, увлеченный духомъ времени, пишетъ

романы, т. е. начинает инсценировать, выдумывать искусственно-тенденциозные построения, не проявляет жизнь, а создает ее самъ — онъ становится скучнымъ, резонерствующимъ, болезненно-натянутымъ. Конечно, отдельные эпизоды, характеристики, положения — отдельныя, такъ сказать, правды — въ его романахъ замечательны, но тѣмъ не менѣе «Некуда», «На ножахъ», «Обойденные» — какъ искусственные построения читаются съ досадой и трудомъ. Точно великій человѣкъ, не удержавшійся отъ соблазна, прельстился на пустой знакъ славы міра сего; вѣдь быть большими писателемъ во времена Лѣскова — означало быть романистомъ! Кромѣ того, романы Лѣскова — это своего рода многословная и неуклюжая литературная племіка съ современной ему идеологіей. Противопоставить свое вдохновенное героическое міровоззрѣніе, свою пітику жизни разсудительно-ограниченной и вылинявшей риторикѣ 80-хъ годовъ — Лѣсковъ, повидимому, считалъ недостаточнымъ. И это понятно, потому что лѣсковскому Прологу, какъ проповѣди о реально-чудесномъ — не внималъ въ ту «глухую пору» никто.

Всѣ пребывали съ заткнутыми ушами, съ бѣльями вмѣсто глазъ, оторванные отъ земли, но не вознесенные въ небо, подобно пыли...

Однимъ изъ мудрѣшихъ законовъ религіи является — поклоненіе мощамъ. Поклоняться Богу заповѣдано не только въ небѣ, но и на землѣ, въ нетлѣнномъ тѣлѣ человѣческомъ. Мощи — это тѣло, останки жизни людей ушедшихъ, отказав-

шихся отъ жизни и отъ тѣла. Отъ чего они, избранные, ушли — тому остальные, обыкновенные, покланяются. Какъ бы замкнутый кругъ. Въ образѣ смертномъ, человѣческомъ — знаменіе бессмертія и славы. Сожженная огнемъ Духа плоть — являеть исцѣленіе плоти немощной и хилой. Благодать дается сквозь все, даже сквозь почившую плоть...

Истинная мистика, духовная крѣость, не въ безплотныхъ тѣняхъ, призракахъ, а въ реальномъ веществѣ, въ воплощеніи жизни. Это забывается въ эпохи упадка, въ эпохи безликой лжеодухотворенности, безформенного спиритуализма, и всегда ярко и мощно утверждается въ стихіи народнаго религіознаго творчества и въ эпохи вѣры. Таинственное, небесное и особенное сочетается съ самымъ простымъ и обыкновеннымъ. Жизнь расцвѣчивается въ самой себѣ яркими образами, удивительными событиями, преданіями и былинами. Чудо — въ быту, въ образахъ дѣйствительности. Сказка — это произведеніе искусства, ее нужно сказывать, исполнять. Былина — это уже міровоззрѣніе, героическое пріятіе міра, чудесное утвержденіе сверхъ-личности.

Человѣку свойственноискать чудесное. Каждый по своимъ силамъ создаетъ вокругъ себя свой міръ, свой небольшой кругъ преданій, «небывалыхъ слушаевъ», героическихъ поступковъ... Этотъ подвижной, вѣчно-переливающейся житейскій романтизмъ являеться вѣрнымъ мѣрителемъ жизненного пульса. Въ періоды возбужденій, рѣзкихъ смѣнъ, значительныхъ событий — біеніе его учащается; когда

затишие — его напряжение спадает. Вместе съ потерю чувства здороваго реализма жизни эта не-престанная, бессознательная творческая импровизация — иссякает и утрачивается. Въ такомъ состояніи притупленія къ жизни, преимущественно, всегда находятся верхнія, культурныя отслоенія, но особенно сильно и болѣзнисто, вслѣдствіе сложныхъ процессовъ и причинъ, оказалась окостенѣвшей и обездушенней — русская интеллигенція послѣдняго вѣка и времени. Жалкими и даже грѣховными звучать еще недавнія жалобы объ измельчаніи рода человѣческаго, о пошлисти среди... Живое, преемственное вдохновеніе жизни было преступно изжито; остались пустота и скука...

Однако есть какое-то глубокое дно, тихій уровень, гдѣ хранятся золотые завѣты простого, живого и крѣпкаго пониманія людей и жизни. Этотъ уровень расположень подъ разметаннымъ и распылившимся слоемъ интеллигенціи. Это не народъ, но поросль, которая питается отъ самой черной и тучной земли народной. Это промежуточный слой между верхами и низами. Но все что взращено этой полосой — подлинно народно, ибо народомъ принимается и несется, какъ дивныя сказанія и былины, какъ свое. Вотъ именно этотъ пластъ творческаго жизнепріятія и жизнедѣйства — обнажилъ Лѣскова.

Въ людяхъ этой породы течеть не оскудѣвшая горячечная сукровица интеллигенціи — а медленная, густая, красно-лиловая кровь нетронутыхъ,

пѣлищныхъ поколѣній. Кто они — сонмъ различныхъ «легендарныхъ характеровъ», историческихъ и неисторическихъ, неизвѣстныхъ подвижниковъ, чудесныхъ героевъ: попъ Туберозовъ, Ахилла, Несмертный Голованъ, Однодумъ, Пигмей, Айтонъ-астрономъ, Павлинъ, Лѣвша, анахоретъ Памва, дѣдъ Марой, безстрашный Лука, печерскій Кесарь, всепомогающій докторъ Николавра, старецъ Малафей и отрокъ Гіезій, попъ Юхвимъ, митрополитъ Филаретъ, отецъ Алексѣй и безъ конца другіе, которыхъ Лѣсковъ иногда называетъ, какъ бы оправдывая, съ теплой ироніей, «антинами». На самомъ же дѣлѣ это герои и молва и преданія о нихъ — истинный, героический народный эпосъ. Герои Лѣскова не самодуры Болкоискіе, не чудаки Астровы, а фанатики, изувѣры даже, потому что каждое сказаніе о нихъ — это сказаніе объ ихъ удивительныхъ дѣлахъ и поступкахъ, это всегда волевое, дѣйственное проявленіе ихъ личности.

У Лѣскова почти нѣть романическихъ повѣствованій. И это понятно: всякий романъ, пересказъ о романическомъ происшествіи — всегда заключаетъ въ себѣ иѣчто эгоистическое, замыкающее весь интересъ въ опредѣленномъ кругу частныхъ переживаній. Большинство или по крайней мѣрѣ лучшіе разсказы Лѣскова, всегда гласятъ объ устремленіи воли отдѣльныхъ героевъ либо на служеніе другимъ, либо на утвержденіе и незыблемое исповѣданіе своеї истины и вѣры и особенная сила этихъ рассказовъ заключается еще въ томъ, что это повѣсти о дѣйствительно бывшихъ

людахъ. Извѣстно, что такъ именно было, что все это не выдумано.

Кто сомнѣвается въ волѣ къ милосердію и дѣянію русской стихіи, — пусть вникнетъ въ героический эпостъ Лѣскова.

Въ творчествѣ Лѣскова нѣтъ свысока приидничаго и болѣзненно-предвзятаго изображенія дѣйствительности Щедрина, нѣтъ описательной риторики и бутафорскаго героизма Тургенева — въ немъ открывается глубокая русская воля къ подвигу, къ простому тайному служенію, воля къ созданію яркой и дѣйственной формы жизни — все то, что было забыто и зарушено пылью и соромъ чужихъ надстроекъ по верхнему слою глубокой русской земли.

И воля эта — ясная и крѣпкая; она не въ мечтѣ, а въ яви; для нея цѣль всегда близка и отчетлива. Въ томъ мірѣ, который раскрывается Лѣсовымъ, небо всегда пребываетъ на землѣ; земля — всегда въ значительности, въ раскрытии Божьей веси. И какой вѣрой овѣяны слова Лѣскова, что «у насть не переводились, да и не переведутся праведные. Ихъ только не замѣчаютъ, а если стать присматриваться — они есть»; что «видѣть одно дурное — это болѣзнь зрѣнія», что нужно «не погублять доброту ума», что если просто записывать все извѣстное о «кое-какихъ хорошихъ людахъ», то много найдется такого, что «свято Господу». «Если безъ трехъ праведныхъ, по народному вѣрованію, нѣтъ граду стоянія, то какъ же устоять цѣлой землѣ?...»

Творчество Лѣскова — народно и религіозно. Его народность — въ напряженной дѣйственности, событийности его повѣстований; кроме того Лѣсковъ народенъ по своему изложенію, по чисто народному подходу и пониманію слова.

По большей части Лѣсковъ любить вести разсказъ отъ первого лица, что даетъ возможность сообщать тому или другому событию — индивидуальную окраску изложенія. Для него слово — не застывшее понятіе, условно установленное, а живая звуко-смысловая форма выраженія, элластично подчиняющаяся своему содержанію, объекту опредѣленія. Словотворчество Лѣскова — неисчерпаемо и не поддается уточненію, ибо измѣнчивость его стиля цѣликомъ зависитъ въ каждомъ данномъ случаѣ отъ всей литературно-выразительной концепціи. Несомнѣнно, весь его «жаргонъ» — неподлинный, т. е. вся модификація и приспособленія словъ Лѣскова — плодъ гениальнаго стилистического вдохновенія; но они подлинны и народны по методу, по вѣрности основного ощущенія и подхода, ихъ породившихъ. Въ народно-лѣсовской стилистикѣ, слова лѣнятся и мягки какъ воскъ, послушно принимая отпечатки давящей формы. Что бы такъ творить, что бы получить полную свободу въ выборѣ словъ и подчиненіи ихъ внутреннему существу смысла, чтобы такъ гениально дифформировать слова, для получения новыхъ, болѣе выпуклыхъ формъ выраженія — нужно находиться въ самой стихіи народнаго сътворенія, въ стихіи народной, гениально-бесознательной импровизаціи слова. И никакія поддѣлки подъ на-

родный акцентъ писателей-народниковъ, или же ученыя и мертвыя стилистическая построенія современныхъ архаизирующихъ эстетовъ, даже близко не могутъ быть поставлены въ смыслѣ убѣдительности и правды, съ геніальными словаремъ Лѣскова. Только теперь, въ тяжеловѣсныхъ оборотахъ Ремизова—Маяковскаго—литературный стиль вновь обрѣтаетъ свои народные и живые законы сложенія.

Творчество Лѣскова религиозно, ибо оно до конца преисполнено реально-чудеснымъ, ибо мораль его не въ назидательно-разсудочной абстракціи, не въ тенденціозной проповѣди, — а въ дѣйствіи, въ опытѣ и въ подвигѣ жизни, за которыми нѣть мѣста разсужденію и сомнѣнію. Это безконечно разная, но неизмѣнно строгая истройная форма жизни.

Строй жизнеявленія Лѣскова напоминаетъ существо древней иконы: внутреннее горѣніе схвачено, выбрано въ чеканныя грани формы... Пустоть не можетъ быть, ибо косность материала и пространство до конца преодолѣны; все заполнено ритмическими бѣніемъ одухотворенного вещества; очертанія плоти еле сдерживаютъ внутреннее напряженіе духа; Духъ — разрѣжается, дѣлаетъ теплящейся оболочку плоти. Разобщить Духъ и Плоть — невозможно. — Они — одно!

Теперь, когда наконецъ заговорили о «фактурѣ» прозаического изложенія, когда поняли, что въ каждомъ изложеніи — имѣется свой ритмиче-

скій строй, что проза, подобно — поэзіи — имѣеть свои законы звуко-ритмического сложенія — Лѣскова, какъ стилиста и излагателя, конечно признаютъ и оцѣняютъ. Но не обѣ этой поздней историко-литературной дани идетъ рѣчь. — Лѣсковъ до сихъ поръ не понять, какъ геній, какъ пророческое знаменіе «глухой поры». Его чувство жизни — неосознано, какъ та конкретная форма русской духовной стихіи, которая всегда жила, тайно и незримо, подъ вѣнчанымъ слоемъ разсудочной суетливости и интеллигентской абстрактности.

Придти къ Лѣскову — это значитъ раскрыть жизнь въ ея героническомъ паѳосѣ, увидать въ каждомъ ея событии и образѣ — живое, реальное откровеніе; это значитъ утвердить жизнь, какъ событийное, лично-волевое начало; наконецъ — это значитъ начать вѣрить въ жизнь и перестать толковать о ней.

Опереться о Лѣскова нельзя безъ того, чтобы частично не оттолкнуться отъ Толстого. Именно Толстому и никому другому долженъ быть противопоставленъ Лѣсковъ, ибо стилистка основы и того и другого — въ одномъ и томъ же — въ жизни.

Если своимъ гrotескомъ, доходящимъ порою до жуткой фантастики, даромъ подглядѣть въ жизни иной разъ — ея нечеловѣческие, дифформированные образы, а также своимъ психологически насыщеннымъ стилемъ — Лѣсковъ, одной стороны своего творчества, приближается къ призрачному миру Достоевскаго, то въ существѣ своихъ творческихъ процессовъ, въ своемъ духовномъ тай-

никъ — онъ, безусловно оть Достоевского въ корне разнится. Достоевский — вѣкъ жизни; онъ цѣликомъ въ призрачной реальности своего міра, въ своей пророческой дѣйствительности, тогда какъ Лѣсковъ обусловленъ самой конкретной, дѣйствительной сутью жизни и въ этомъ отношеніи у него съ Толстымъ — одинаковый творческий устой. Но, для Толстого жизнь являлась единствомъ необъятнымъ русломъ, по которому слѣпо и бурно устремлялись жизненные процессы-воды, смывая въ своемъ движеніи — все лично-человѣческое, обезвѣчивая въ одномъ мутномъ теченіи — всѣ приоточные струи, тогда какъ, для Лѣскова жизнь вскрывалась, какъ множество мелкихъ, но кристальныхъ родниковъ въ темной гущѣ лѣса. Толстой захлебнулся своимъ стихійнымъ потокомъ и потопилъ себою множество, хотѣвшихъ напиться его живой воды.

Лѣсковъ своими тонкими родниками — еще многихъ бережно напоить, кто забредетъ къ нему и нападетъ на его свѣтлые ручьи...

Творческий организмъ Толстого, какъ сложное и огромное цѣлое — будетъ всегда поражать широтой и мощью своего жизненного охвата, но врядъ ли ближайшая эпоха будетъ чувствовать Толстого, какъ своего генія. Толстой навсегда вошелъ въ человѣчество, но, по всей вѣроятности, на долго вышелъ изъ апостоловъ и водителей опредѣленныхъ поколѣній и эпохи. Уже теперь, для нашихъ дней — Толстой угасшій геній, но толь соблазнъ, которымъ была схвачена его творческая стихія — всегда будетъ живъ, ибо онъ исконный,

оть грѣхопаденія заданный человѣчеству для преодолѣнія и побѣды. И можетъ быть эпоха новой Россіи — и будетъ реакціей противъ Толстого, противъ страшного соблазна принимать жизнь въ механической причинности, въ слѣпой послѣдовательности ея процессовъ, а не въ творческомъ подвигѣ личности; противъ того, чтобы принимать жизнь въ разлагающемъ аспектѣ отвлеченнаго разума и разсудочнаго натурализма, а не въ слитной формѣ религіознаго реализма, религіознаго вдохновенія, пути постиганія котораго «лежать вѣкъ и надъ плоскостью стихійныхъ силъ».

Религіозное сознаніе Толстого, утвердившееся, какъ толкованіе, какъ разъединяющія личная настроенія и разсужденія о морали и любви — стоить, какъ исконное противоположеніе, передъ вѣрой героевъ Лѣскова. И не случайно Лѣсковъ подошелъ къ «житіямъ» и апокриямъ. Не важно, что у него все-таки не хватило творческихъ силъ и техники, чтобы переработать этотъ вдохновенный материалъ, но онъ, все-таки первый, который дерзнулъ хотя бы коснуться его и показать всю неисчерпаемость этихъ драгоценныхъ нѣдръ народно-религіознаго творчества.

Также противостоять по формѣ и длинные романы Толстого, которые выражаютъ его процессуальное мировоззрѣніе — короткимъ рассказамъ Лѣскова, въ которыхъ жизнь раскрывается неизмѣнно въ фактахъ волевыхъ совершеній, въ утвержденіяхъ героической личности.

Придеть время, даже настаетъ оно, когда Лѣсковъ встанетъ новымъ сіяніемъ въ русской ду-

ховной культурѣ. Если интеллигентская среда имѣла все-таки достаточно силъ, чтобы въ темную пору конца прошлого вѣка создать такое творческое явленіе, какъ Лѣсковъ, то неужели теперь, когда колесо эпохи тяжелымъ взмахомъ свалило прошлое и вознесло новое, когда прояснились взоры людей и мутныя дали, — вдохновенное чувство жизни, которое онъ такъ понялъ въ русскомъ духовномъ сознаніи, не предстанетъ во всей своей силѣ и реальной простотѣ? Неужели тѣ глубинные пласти России, которые должны будуть обнажиться послѣ того, какъ вѣтеръ революціи сдуетъ и разметаетъ всю ея наносную пыль — не окажутся урожайными и не взростятъ ту — конкретно-духовную культуру, которая станетъ вѣрой для всѣхъ?

Въ праведность Россіи вѣрилъ Лѣсковъ, должны вѣрить и тѣ, кто понялъ его.

Лѣсковъ изъ былого, поверхъ провала современности, знаменуетъ въ будущее о томъ, что единственно можетъ на крыльяхъ своихъ удержаться надъ бездной — о подвигѣ; и помнить Лѣскова — значитъ не соблазниться въ наши дни о правдѣ и подвигѣ Россіи.

Софія-Берлинъ 1921—22.

П. Сувчинскій

### ТИПЫ ТВОРЧЕСТВА (ПАМЯТИ А. БЛОКА)

Есть творческія становленія, опредѣляемыя исключительностью творческаго процесса, творчествомъ, какъ самодовѣряющей функцией человѣческаго духа. Есть же другія, которыхъ обусловливаются въ большей или меньшей мѣрѣ, иногда даже цѣликомъ, — опытомъ жизни, всѣмъ конкретнымъ множествомъ подлинныхъ жизненныхъ переживаній. Для первого творческаго типа — жизнь протекаетъ, въ цѣломъ, неподчинено собственно творческимъ процессамъ и не обусловливаетъ своимъ чередованіями творческія средоточія вдохновенія. Во второмъ случаѣ творчество лишь зависимо повторяетъ, отображаетъ въ непрестанныхъ смѣнахъ вдохновенія — всѣ чередованія эмоцій, всѣ события жизненнаго теченія и бытія. Въ одномъ случаѣ творческая воля вытѣсняетъ волю интенсивно-опытной жизни; въ другомъ воля жизни и воля творчества равнозначущи въ своихъ силахъ, но воля жизни опредѣляетъ волю творчества.

Такимъ образомъ — пониманіе творческаго феномена можетъ лежать, либо въ планѣ жизни, либо